



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов.

Это был человек лет тридцати двух-трёх от роду, среднего роста, приятной наружности, с тёмно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определённой идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворённые губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всём лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока.

Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением не лица только, а всей души; а душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк должен быть, простота!» Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошёл бы в приятном раздумье, с улыбкой.

Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его,

судя по матовому, чересчур белому цвету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины.

Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишённою своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга; но редко тревога эта застывала в форме определённой идеи, ещё реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте.

Как шёл домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нём был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намёка на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу всё шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретённым, но всё ещё сохранял яркость восточной краски и прочность ткани.

Халат имел в глазах Обломова тьму неоценённых достоинств: он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела.

Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье. Туфли на нём были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу.

Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было нормальным состоянием. Когда он был дома — а он был почти всегда дома, — он всё лежал, и всё постоянно в одной комнате, где мы его нашли,

служившей ему спальней, кабинетом и приёмной. У него было ещё три комнаты, но он редко туда заглядывал, утром разве, и то не всякий день, когда человек мёл кабинет его, чего всякий день не делалось. В тех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы спущены.

Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шёлковой материею, красивые ширмы, с вышитыми небывальными в природе птицами и плодами. Были там шёлковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей.

Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом на всё, что тут было, прочёл бы только желание кое-как соблюсти *decozum*¹ неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал свой кабинет. Утончённый вкус не удовлетворялся бы этими тяжёлыми, неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало.

Точно тот же характер носили на себе и картины, и вазы, и мелочи.

Сам хозяин, однако, смотрел на убранство своего кабинета так холодно и рассеянно, как будто спрашивал глазами: «Кто сюда натащил и наставил всё это?» От такого холодного воззрения Обломова на свою собственность, а может быть, и ещё от более холодного воззрения на тот же предмет слуги его, Захара, вид кабинета, если осмотреть там всё повнимательнее, поражал господствующею в нём запущенностью и небрежностью.

По стенам, около картин, лепилась в виде фестонов паутина, напитанная пылью; зеркала, вместо того чтобы отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалью для записывания на них, по пыли, каких-нибудь замечаний на память. Ковры были в пятнах. На диване лежало

¹ Видимость (*лат.*).

забытое полотенце; на столе редкое утро не стояла не убранная от вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой да не валялись хлебные крошки.

Если б не эта тарелка, да не прислонённая к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живёт, — так всё запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. На этажерках, правда, лежали две-три развёрнутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с перьями; но страницы, на которых развёрнуты были книги, покрылись пылью и пожелтели; видно, что их бросили давно; номер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в неё перо, вырвалась бы разве только с жужжаньем испуганная муха.

Илья Ильич проснулся против обыкновения очень рано, часов в восемь. Он чем-то сильно озабочен. На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум ещё не являлся на помощь.

Дело в том, что Обломов накануне получил из деревни, от своего старосты, письмо неприятного содержания. Известно, о каких неприятностях может писать староста: неурожай, недоимки, уменьшение дохода и т. п. Хотя староста и в прошлом, и в третьем году писал к своему барину точно такие же письма, но это последнее письмо подействовало так же сильно, как всякий неприятный сюрприз.

Легко ли? Предстояло думать о средствах к принятию каких-нибудь мер. Впрочем, надо отдать справедливость заботливости Ильи Ильича о своих делах. Он по первому неприятному письму старосты, полученному несколько лет назад, уже стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в порядке управления своим имением.

По этому плану предполагалось ввести разные новые экономические, полицейские и другие меры. Но план

был ещё далеко не весь обдуман, а неприятные письма старосты ежегодно повторялись, побуждали его к деятельности и, следовательно, нарушали покой. Обломов сознавал необходимость до окончания плана предпринять что-нибудь решительное.

Он, как только проснулся, тотчас же вознамерился встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться этим делом как следует.

С полчаса он всё лежал, мучаясь этим намерением, но потом рассудил, что успеет ещё сделать это и после чаю, а чай можно пить, по обыкновению, в постели, тем более что ничто не мешает думать и лёжа.

Так и сделал. После чаю он уже приподнялся со своего ложа и чуть было не встал; поглядывая на туфли, он даже начал спускать к ним одну ногу с постели, но тотчас же опять подобрал её.

Пробило половина десятого, Илья Ильич встрепенулся.

— Что ж это я, в самом деле? — сказал он вслух с досадой. — Надо совесть знать: пора за дело! Дай только волю себе, так и...

— Захар! — закричал он.

В комнате, которая отделялась только небольшим коридором от кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала точно ворчанье цепной собаки, потом стук спрыгнувших откуда-то ног. Это Захар спрыгнул с лежанки, на которой обыкновенно проводил время, сидя погружённый в дремоту.

В комнату вошёл пожилой человек, в сером сюртуке, с прорехою под мышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете с медными пуговицами, с голым, как колено, черепом и с необъятно широкими и густыми, русыми с проседью бакенбардами, из которых каждой стало бы на три бороды.

Захар не старался изменить не только данного ему богом образа, но и своего костюма, в котором ходил

в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была единственною представительницею достоинства дома Обломовых.

Более ничто не напоминало старику барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и, чай, валяются где-нибудь на чердаке, предания о старинном быте и важности фамилии всё гложут или живут только в памяти немногих, оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для Захара дорог был серый сюртук: в нём, да ещё в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя, и вслух, но которые между тем уважал внутренне как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намёки на отжившее величие.

Без этих капризов он как-то не чувствовал над собой барина; без них ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и преданий об этом старинном доме, единственной хроники, ведённой старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой из рода в род.

Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, бог знает отчего, всё беднел, мельчал и, наконец, незаметно потерялся между нестарыми дворянскими домами.

Только поседевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем, дорожа ею как святынею.

Вот отчего Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бакенбардами своими он дорожил потому, что видел в детстве своём много старых слуг с этим старинным, аристократическим украшением.

Илья Ильич, погружённый в задумчивость, долго не замечал Захара. Захар стоял перед ним молча. Наконец он кашлянул.

— Что ты? — спросил Илья Ильич.

— Ведь вы звали?

— Звал? Зачем же это я звал — не помню! — отвечал он, потягиваясь. — Поди пока к себе, а я вспомню.

Захар ушёл, а Илья Ильич продолжал лежать и думать о проклятом письме.

Прошло с четверть часа.

— Ну, полно лежать! — сказал он. — Надо же встать... А впрочем, дай-ка я прочту ещё раз со вниманием письмо старосты, а потом уж и встану. Захар!

Опять тот же прыжок и ворчанье сильнее. Захар вошёл, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуты две, неблагоприятно, немного стороной посматривая на барина, и, наконец, пошёл к дверям.

— Куда же ты? — вдруг спросил Обломов.

— Вы ничего не говорите, так что ж тут стоять-то даром? — захрипел Захар за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками, когда ездил со старым барином и когда ему дунуло будто сильным ветром в горло.

Он стоял вполупорот среди комнаты и глядел всё стороной на Обломова.

— А у тебя разве ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабочен — так и подожди! Не належался ещё там? Сыщи письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его дел?

— Какое письмо? Я никакого письма не видал, — сказал Захар.

— Ты же от почтальона принял его: грязное такое!

— Куда ж его положили — почему мне знать? — говорил Захар, похлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе.

— Ты никогда ничего не знаешь. Там, в корзине, посмотри! Или не завалилось ли за диван? Вот спинка-то

у дивана до сих пор не починена; что б тебе призвать столяра да починить? Ведь ты же изломал. Ни о чём не подумашь!

— Я не ломал, — отвечал Захар. — Она сама изломалась; не век же ей быть: надо когда-нибудь изломаться.

Илья Ильич не счёл за нужное доказывать противное.

— Нашёл, что ли? — спросил он только.

— Вот какие-то письма.

— Не те.

— Ну, так нет больше, — говорил Захар.

— Ну, хорошо, поди! — с нетерпением сказал Илья Ильич. — Я встану, сам найду.

Захар пошёл к себе, но только он упёрся было руками о лежанку, чтоб прыгнуть на неё, как опять послышался торопливый крик:

— Захар, Захар!

— Ах ты, господи! — ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. — Что это за мученье! Хоть бы смерть скорее пришла!

— Чего вам? — сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова, в знак неблаговоления, до того стороной, что ему приходилось видеть барина вполглаза, а барину видна была только одна необъятная бакенбарда, из которой, так и ждёшь, что вылетят две-три птицы.

— Носовой платок, скорей! Сам бы ты мог догадаться; не видишь! — строго заметил Илья Ильич.

Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия или удивления при этом приказании и упрёке барина, находя, вероятно, со своей стороны и то и другое весьма естественным.

— А кто его знает, где платок? — ворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стульях ничего не лежит.

— Всё теряете! — заметил он, отворяя дверь в гостиную, чтоб посмотреть, нет ли там.

— Куда? Здесь ищи! Я с третьего дня там не был. Да скорее же! — говорил Илья Ильич.

— Где платок? Нету платка! — говорил Захар, разводя руками и озираясь во все углы. — Да вон он, — вдруг сердито захрипел он, — под вами! Вон конец торчит. Сами лежите на нём, а спрашиваете платка!

И, не дожидаясь ответа, Захар пошёл было вон. Обломову стало немного неловко от собственного промаха. Он быстро нашёл другой повод сделать Захара виноватым:

— Какая у тебя чистота везде: пыли-то, грязи-то, боже мой! Вон, вон, погляди-ка в углах-то — ничего не делаешь!

— Уж коли я ничего не делаю... — заговорил Захар обиженным голосом. — Стараюсь, жизни не жалею! И пыль-то стираю, и мету-то почти каждый день...

Он указал на середину пола и на стол, на котором Обломов обедал.

— Вон, вон, — говорил он, — всё подметено, прибрано, словно к свадьбе... Чего ещё?

— А это что? — прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. — А это? А это?

Он указал на брошенное со вчерашнего дня полотенце и на забытую на столе тарелку с ломтём хлеба.

— Ну, это, пожалуй, уберу, — сказал Захар, снисходительно взяв тарелку.

— Только это! А пыль по стенам, а паутина?.. — говорил Обломов, указывая на стены.

— Это я к Святой неделе убираю: тогда образа чищу и паутину снимаю...

— А книги, картины обмести?..

— Книги и картины перед Рождеством: тогда с Анисьей все шкапы переберём. А теперь когда станешь убирать? Вы всё дома сидите.

— Я иногда в театр хожу да в гости: вот бы...

— Что за уборка ночью!

Обломов с упрёком поглядел на него, покачал головой и вздохнул, а Захар равнодушно поглядел в окно

и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал: «Ну, брат, ты ещё больше Обломов, нежели я сам», а Захар чуть ли не подумал: «Врёшь! Ты только мастер говорить мудрёные да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела нет».

— Понимаешь ли ты, — сказал Илья Ильич, — что от пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стене!

— У меня и блохи есть! — равнодушно отозвался Захар.

— Разве это хорошо? Ведь это гадость! — заметил Обломов.

Захар усмехнулся во всё лицо, так что усмешка охватила даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в стороны, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно.

— Чем же я виноват, что клопы на свете есть? — сказал он с наивным удивлением. — Разве я их выдумал?

— Это от нечистоты, — перебил Обломов. — Что ты всё врешь!

— И нечистоту не я выдумал.

— У тебя, вот там, мыши бегают по ночам — я слышу.

— И мышей не я выдумал. Этой твари, что мышей, что кошек, что клопов, везде много.

— Как же у других не бывает ни моли, ни клопов?

На лице Захара выразилась недоверчивость или, лучше сказать, покойная уверенность, что этого не бывает.

— У меня всего много, — сказал он упрямо, — за всяким клопом не усмотришь, в щёлку к нему не влезешь.

А сам, кажется, думал: «Да и что за спаньё без клопа?»

— Ты мети, выбирай сор из углов — и не будет ничего, — учил Обломов.

— Уберёшь, а завтра опять наберётся, — говорил Захар.

— Не наберётся, — перебил барин, — не должно.

— Наберётся — я знаю, — твердил слуга.

— А наберётся, так опять вымети.

— Как это? Всякий день перебирай все углы? — спросил Захар. — Да что ж это за жизнь? Лучше бог по душу пошли!

— Отчего ж у других чисто? — возразил Обломов. — Посмотри напротив, у настройщика: любо взглянуть, а всего одна девка...

— А где немцы сору возьмут, — вдруг возразил Захар. — Вы поглядите-ко, как они живут! Вся семья целую неделю кость гложет. Сюртук с плеч отца переходит на сына, а с сына опять на отца. На жене и дочерях платьишки коротенькие: всё поджимают под себя ноги, как гусыни... Где им сору взять? У них нет этого вот как у нас, чтоб в шкапах лежала по годам куча старого изношенного платья или набрался целый угол корок хлеба за зиму... У них и корка зря не валяется: наделают сухариков, да с пивом и выпьют!

Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скаредном житье.

— Нечего разговаривать! — возразил Илья Ильич. — Ты лучше убирай.

— Иной раз и убрал бы, да вы же сами не даёте, — сказал Захар.

— Пошёл своё! Всё, видишь, я мешаю.

— Конечно, вы; всё дома сидите: как при вас станешь убирать? Уйдите на целый день, так и уберу.

— Вот ещё выдумал что — уйти! Поди-ка ты лучше к себе.

— Да право! — настаивал Захар. — Вот, хоть бы сегодня ушли, мы бы с Анисьей и убрали всё. И то не управимся вдвоём-то: надо ещё баб нанять, перемыть всё.

— Э! Какие затеи — баб! Ступай себе, — говорил Илья Ильич.

Он уже был не рад, что вызвал Захара на этот разговор. Он всё забывал, что чуть тронешь этот деликатный предмет, так и не оберёшься хлопот.

Обломову и хотелось бы, чтоб было чисто, да он бы желал, чтоб это сделалось как-нибудь так, незаметно,

само собой; а Захар всегда заводил тяжбу, лишь только начинали требовать от него сметания пыли, мытья полов и т. п. Он в таком случае станет доказывать необходимость громадной возни в доме, зная очень хорошо, что одна мысль об этом приводила барина его в ужас.

Захар ушёл, а Обломов погрузился в размышления. Через несколько минут пробило ещё полчаса.

— Что это? — почти с ужасом сказал Илья Ильич. — Одиннадцать часов скоро, а я ещё не встал, не умылся до сих пор? Захар, Захар!

— Ах ты, боже мой! Ну! — послышалось из передней, и потом известный прыжок.

— Умыться готово? — спросил Обломов.

— Готово давно! — отвечал Захар. — Чего вы не встаёте?

— Что же ты не скажешь, что готово? Я бы уж и встал давно. Поди же, я сейчас иду вслед за тобою. Мне надо заниматься, я сяду писать.

Захар ушёл, но через минуту воротился с исписанной и замасленной тетрадкой и клочками бумаги.

— Вот, коли будете писать, так уж кстати извольте и счёты поверить: надо деньги заплатить.

— Какие счёты? Какие деньги? — с неудовольствием спросил Илья Ильич.

— От мясника, от зеленщика, от прачки, от хлебника: все денег просят.

— Только о деньгах и забота! — ворчал Илья Ильич. — А ты что понемногу не подаёшь счёты, а все вдруг?

— Вы же ведь всё прогоняли меня: завтра да завтра...

— Ну, так и теперь разве нельзя до завтра?

— Нет! Уж очень пристают: больше не дают в долг.

Нонче первое число.

— Ах! — с тоской сказал Обломов. — Новая забота! Ну, что стоишь? Положи на стол. Я сейчас встану, умоюсь и посмотрю, — сказал Илья Ильич. — Так умыться-то готово?

— Готово! — сказал Захар.

— Ну, теперь.

Он начал было, кряхтя, приподниматься на постели, чтоб встать.

— Я забыл вам сказать, — начал Захар. — Давеча, как вы ещё почивали, управляющий дворника прислал: говорит, что непременно надо съехать... квартира нужна.

— Ну, что ж такое? Если нужна, так, разумеется, съедем. Что ты пристаёшь ко мне? Уж ты третий раз говоришь мне об этом.

— Ко мне пристают тоже.

— Скажи, что съедем.

— Они говорят: вы уж с месяц, говорят, обещали, а всё не съезжаете; мы, говорят, полиции дадим знать.

— Пусть дают знать! — сказал решительно Обломов. — Мы и сами переедем, как потеплее будет, недели через три.

— Куда недели через три! Управляющий говорит, что через две недели рабочие придут: ломать всё будут... «Съезжайте, говорит, завтра или послезавтра...»

— Э-э-э! Слишком проворно! Видишь, ещё что! Не сейчас ли прикажете? А ты мне не смей и напоминать о квартире. Я уж тебе запретил раз; а ты опять. Смотри!

— Что ж мне делать-то? — отозвался Захар.

— Что ж делать? — Вот он чем отделяется от меня! — отвечал Илья Ильич. — Он меня спрашивает! Мне что за дело? Ты не беспокой меня, а там, как хочешь, так и распорядись, только чтоб не переезжать. Не может постараться для барина!

— Да как же, батюшка Илья Ильич, я распоряжусь? — начал мягким сипеньем Захар. — Дом-то не мой: как же из чужого дома не переезжать, коли гонят? Кабы мой дом был, так я бы с великим моим удовольствием...

— Нельзя ли их уговорить как-нибудь? «Мы, дескать, живём давно, платим исправно».

— Говорил, — сказал Захар.

— Ну, что ж они?

— Что! Наладили своё: «Переезжайте, говорят, нам нужно квартиру переделывать». Хотят из докторской и из этой одну большую квартиру сделать, к свадьбе хоззяйского сына.

— Ах ты, боже мой! — с досадой сказал Обломов. — Ведь есть же этикие ослы, что женятся!

Он повернулся на спину.

— Вы бы написали, сударь, к хозяину, — сказал Захар, — так, может быть, он бы вас не тронул, а велел бы сначала вон ту квартиру ломать.

Захар при этом показал рукой куда-то направо.

— Ну, хорошо, как встану, напишу... Ты ступай к себе, а я подумаю. Ничего ты не умеешь сделать, — добавил он, — мне и об этой дряни надо самому хлопотать.

Захар ушёл, а Обломов стал думать.

Но он был в затруднении, о чём думать: о письме ли старосты, о переезде ли на новую квартиру, приняться ли сводить счёты? Он терялся в приливе житейских забот и всё лежал, ворочаясь с боку на бок. По временам только слышались отрывистые восклицания:

— Ах, боже мой! Трогает жизнь, везде достаёт.

Неизвестно, долго ли бы ещё пробыл он в этой нерешительности, но в передней раздался звонок.

— Уж кто-то и пришёл! — сказал Обломов, кутаясь в халат. — А я ещё не вставал — срам, да и только! Кто бы это так рано?

И он, лёжа, с любопытством глядел на двери.

II

Вошёл молодой человек лет двадцати пяти, блестящий здоровьем, со смеющимися щеками, губами и глазами. Зависть брала смотреть на него.

Он был причёсан и одет безукоризненно, ослеплял свежестью лица, белья, перчаток и фрака. По жилету лежала изящная цепочка, со множеством мельчайших брелоков. Он вынул тончайший батистовый платок, вдохнул